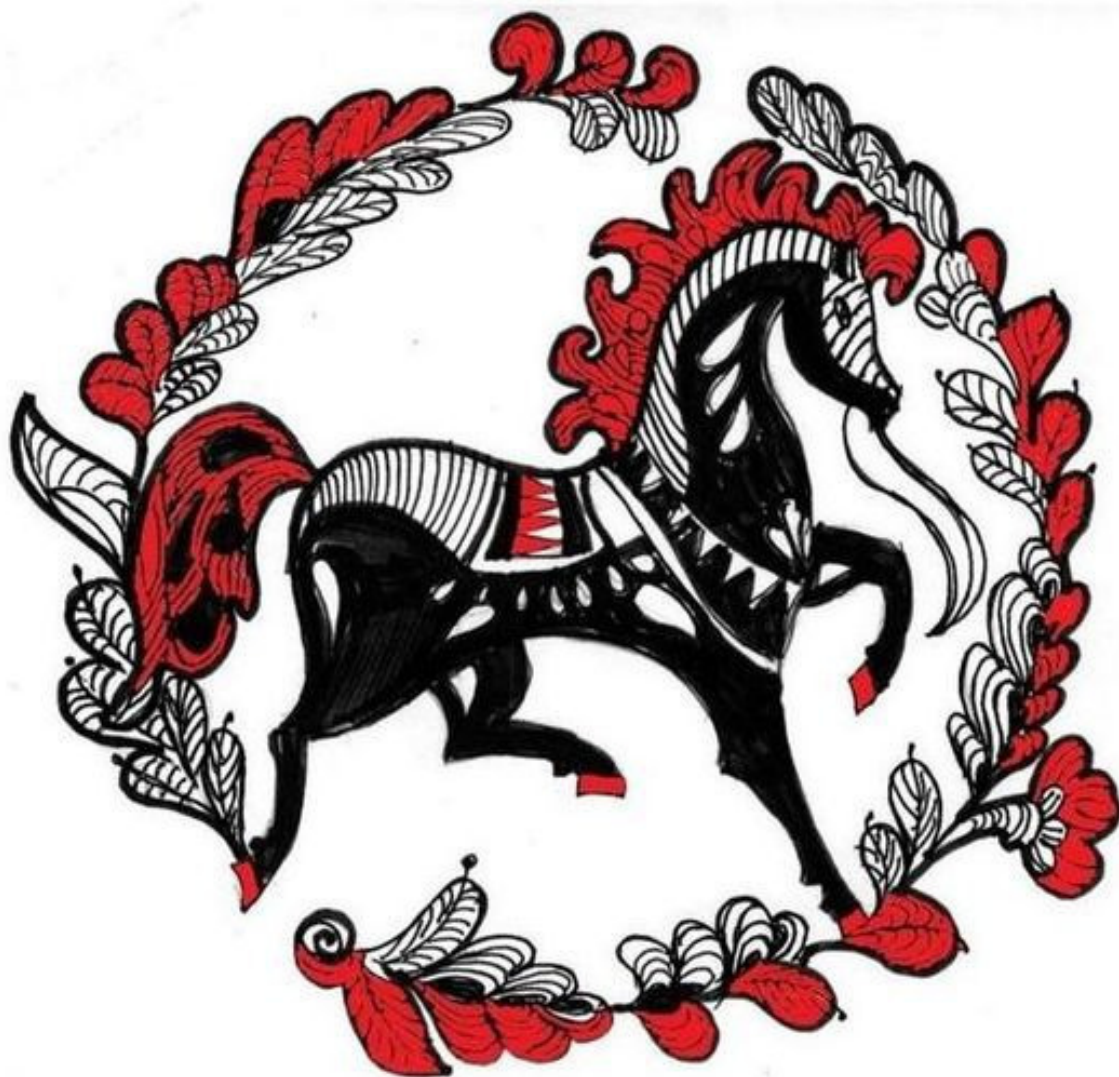


18+

*Надежда Гладкая*



*Русь деревенская*

Надежда Гладкая  
**Русь деревенская**

«Издательские решения»

**Гладкая Н.**

Русь деревенская / Н. Гладкая — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-512269-8

Повесть из 19 рассказов, созданных по воспоминаниям жителей уральских деревень. Реальные события с конца XIX до конца XX века в художественном изложении автора. Быт и любовь, беда и смех, война и мир, правда и кривда — живая жизнь русской деревни. Книга написана на подлинном уральском диалекте.

ISBN 978-5-00-512269-8

© Гладкая Н.  
© Издательские решения

# Содержание

Русь деревенская	6
Глава 1 «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»	7
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Русь деревенская

**Надежда Гладкая**

*Иллюстратор* Алла Таранкевич

© Надежда Гладкая, 2020

© Алла Таранкевич, иллюстрации, 2020

ISBN 978-5-0051-2269-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Русь деревенская

*«Люди вообще напрасно думают, что каждому из них доступно только то, что прошло через сознательные слои его «дневного» опыта. Неисследимо и неопишимо присутствуют в каждом из нас веяния наследственно окружающей нас природы, дыхание нашей национальной истории, потомственно намоленные в душе религиозные сокровища духа.*

*Всё это как бы дремлет под сводами нашего душевного подполья; и только ждет своего часа для подъема и обнаружения. И в этот час, когда приходит в движение родовая глубь личной души, человек испытывает себя скорбно и радостно-древним, как если бы в нем ожили и зашевелились его безвестные, но столь близкие ему предки, их беды и победы; как если бы в нем проснулось некое историческое ясновидение, доселе сосредоточенно молчавшее, или рассредоточенно дремавшее в глубине его души, – проснулось и раскрыло ему сразу и глубину прошедшего, и глубину его собственной личности.*

*И вот все живо, все трепетно-свежо, все заливают душу скорбью былых страданий и радостью нового видения».*

*Иван Ильин, русский философ*



*«А не спеши ты нас хоронить,  
А у нас ещё здесь дела,  
У нас дома детей мал-мала,  
Да и просто хотелось пожить».*  
*Владимир Шахрин*

## Глава 1 «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО»



### СВЕТ ДЕРЕВНИ

(повесть)

*«Кровавая, хмельная,  
Хоть пой, хоть волком вой!  
Страна моя родная,  
А что ж ты делаешь со мной?!»*

*Зоя Яценко*

*«Блаженны кроткие,  
ибо они наследуют землю».*

*Евангелие от Матфея, гл.5, ст.5*

Солнце вставало доброе, чистое, обещало хороший день. Оно появляется каждый день из-за угловой соседской ограды, что через дорогу, между изгибом реки и лесом. Сначала чуть подсвечивает снизу небо, потом, высунув макушку из-за горизонта, пускает свет вдоль по земле, и, наконец, показав свой лоб, щекочет лучами уже бока деревьев и изб. А уж когда является перед миром всем ликом, тогда щедро заливает светом и крыши, и огороды, и реку.

Дом поставлен так, что солнце в окнах весь день, от первого лучика до последнего. Сперва в горнице и комнате, в пяти окнах прямо, потом катится вправо, заглядывая в те, что выходят во двор, пока не спрячется за кладовую. Тому, кто привык трудиться от зари до зари, по-другому строить нельзя.

Александра наблюдала рассвет из окна родительского дома, дожидаясь невестку, чтобы с нею идти на реку полоскаться. Мария собирала в узел волосы, зевая, повязывала платок. Подхватив корыто с бельём и вальки, женщины вышли из избы и стали спускаться к реке. Расположившись на плотике, заскали рукава рубашек выше локтя, принялись плескаться на стайку гусей и кышкать, отгоняя их от мостков. Какое-то время у реки было спокойно, слышался плеск белья по воде и гусяных крыльев неподалёку, и солнце пронизывало золотыми нитями белизну птичьих крыл и лёгких женских рубашек, не забывая и обо всём берегу, создавая неповторимое, не сравнимое ни с чем световое полотно утренней деревни.

Александрке всегда было радостно гостить в родном доме, словно сила впитывалась в неё от самых стен, от тятиной тихой поддержки, маминого разговора, мир нисходил в душу, дух укреплялся. Только сейчас она у них не в гостях, и не от радости. Мужнину семью раскулачили, и мужа, и отца его с матерью увезли куда-то, сказывают – в Сибирь. Свекровка добрая была у неё, уговаривала:

– Олександра, бабам-то можно отстать от мужиков, разрешают отделиться. Иди к своим, робят уводи, может – спасётся.

Сомнительно это было, чтобы спастись. Несдобровать им. Свекры, конечно, тоже не худо живут, к худым её бы не отдали. Не живут, жили уж теперь. Узнавала про них, спрашивала – никто ничего не говорит. Ни слуху, ни духу. Где они, как они? Запропали начисто, может, вовсе сгнули. Никого не жалеют теперь, стреляют. В Мироновой вон церкву изломали, батюшек убили. Кладбище испоганили, с землёй сровняли, где могилки теперь родные искать? Дедушко Иван там, баушка Надёжа, сестрица Мария...

Но к своим уехала, робятёшек пожалела. Да и за своих боязно. Не самой спастись, дак им помочь. Хотя, чем поможешь? Но как сам тут находишься, сам всё видишь, дак будто легче. Павел, муж-то, хороший у неё был, ладно у их было. Был, было... Неужто только так теперь и говорить об этом? Неужели всё погинуло?

Тятин-от дом посправнее Павлова будет. Значит, не сегодня-завтра и к ним придут. Федя Горбатый уж не раз похвалялся: «Теперь мы станем калачики ись, а вы сухари сушите». Мы – это, стало быть, новая власть. Ты сперва напеки этих калачиков-то! Да из своей пшенички.

Перво-то время власть не по один раз на дню из рук в руки переходила. Утром бела, вечер красна. Потом снова да ладом переменятся. Как красны в деревню – Федина семейка уж тут перед ими вьётся.

В соседних губерниях, сказывают, мужики сколь раз бунтовали. А наши... Дед Иван наверняка бы пошёл. А тятя другой, и брат тоже. На их многие глядят, уважают всё ж таки. Может, на их глядя, тоже молчат.

Сердце сжалось, вспомнив прежнюю жизнь. Тятя тогда токо недавно их с сестрой из школы приходской забрал, не дал в третий класс пойти – работы по дому полно, а прислуги ведь нету. Хватит, писать-читать выучились, и будет, не барыни. Совсем-то неграмотных у их никого не было, азбуку с арифметикой все знали. Токо ленивые грамоте не знают да худомые. Однако, добро с неба не падает, а с поля, да с огорода, да с пригона. А зимой – красна, спицы, иголки да нитки. Мужикам плотница работа, обушки шить, посуду ладить, да кўзня ведь у них. Понимай, сколь работы-то. В большой семье у всякого своя кудёля, большим – больша, маленьким – маленька.

И вскоре, в один недобрый день, прискакал тятин сродный брат, Перфильей, рассказал: «Пермь пала, царя сбросили!» И показалось это так, будто небо сбросили на землю, и всех придавило... Как жить теперь, чему верить, кому служить? А тятя твёрдо сказал: «Разве нам

кто приказывал сердце менять? Или голову другую приставили? Им Бог судья, а нам гадать да менять нечего, так и быть, как было. Жить по совести, верить Богу, служить родной землёшке»...

И заездили, запылили, заскакали по деревням чужаки. Грохот, крики, топот, стрельба, грязь, день и ночь смешались – ни в чем не было больше покоя. Ничего нельзя хуже придумать для деревенского человека, чем нарушить его уклад, его мирный, понятный ход жизни, в котором он знает, что это его дом, его двор, его поле, его семья. Его соседи, а значит, братья, друзья. Потому что у них такой же дом, и двор, и поле, и семья. И все они вместе, и знали, когда вставать и ложиться, сеять и жать, работать и праздновать. И берегли и умножали то, что давала им земля.

Теперь было непонятно, когда день и ночь – и ночью стреляли и кричали, и выгоняли из избы. Когда сеять – поля топчут чужие кони. Кони чужие, а седоки на них по-русски вроде говорят. Токо матерятся больно, да слов каких-то басурманских много. Русские, а чужаки. Что с ними делать? Знали многих врагов в лицо, воевали в германскую, дед Иван турка бивал. А эти – со своего уезда, да хуже турка. Раньше мчали по сёлам тройки коней, теперь тройки людей. Те тройки людям служили, душу радовали. А эти людей приговаривают да стреляют.

И как понять то, что им говорят: «Новая власть даст вам землю», а власть пришла и землю отняла. И как беречь заробленное – горят амбары и избы, выгребаются подчистую и зерно, и сено. Кое-которые из деревенских ушли с имья. Србдник тятин, Панкратий, ушёл. У их земли было не сколь дивно, пять девок в семье-то дак. Сказывают, нету уж живого. За что погинул? Жена с девками осталась сирота. Тятя им муки свёз, пшена, мама узел одёжи для их проводила, да денег сколь-то. Хоть и удивительно, как девки себе не нашили добра, не навязали? Безрукие ли чё ли? Ну, осуждать – грех.

Ещё раз приезжал дядя Перфилей. Что Илья с Егором к красным не метнулись, в том сомнений не было никаких. Тут другое дело. За Пермью и да́ле мужики восстали. Работать нельзя, семью кормить нельзя, хлеб отдай, лошадь отдай. Баб, ребятишек стреляют. Токо степняки так делали, их отбили деды, неужто мы этих не отобьём? Перфилей уехал мрачный. Впоследни сказал брату: «Смотри, Илья Иванович, ты против их не идёшь, а онé за тобой придут, не задержатся»...

\* \* \*

Александра с Марией стали подниматься вгору, к избе. Трёхшёрстная кошка припустилась от лохматого кобеля через дорогу и взлетела на электрический столб. Пёс отметился у столба и пошёл по своим делам, а стайка воробьёв расселась на проводах. Замешкались вроде на минуту, и опять давай чирикать. Кошка долезла до середины, опну́лась, и сидела, думала – сползти вниз или лезти выше, чтобы воробьёв достать. Запоздалые петухи догорлаживали побудку для ленивых, а на столбе по сю пор горел огонь. Сказывают, недёшева эта новая лампа, денег стоит. Мотает там где-то чё-то.

Дедушко Иван опять вспомнился. Всё говорил: «Наживи́, да не растрясй́». Александра усмехнулась, припомнила, как они маленьки уроки сядут выполнять, зажгут лампу. Кероси́нова лампа, в деревне её называют «сбоку налива́тся, с ж.пы задува́тся». А дедушко не любил, когда кто при огне работу делает, особенно летом. На то солнышко есть. Не успели – стало быть, никуда не успели. Никудышные, значит, работники. Поглядит на робят, встанет, подойдёт к окошку, занавеску вроде того пошшупает, побряхтит, ладошки друг об дружку пошоркает. Потом тихоньку подойдёт к лампе, и вроде невзначай задует. Вот и выучили уроки. А кто виноват? Припозднили́сь – всё.

А новую эту лампу с проводами и вовсе не жаловал. Для ленивых токо. Наливать не надо, ставить не надо, болтается, токо загогулину поворачивай, можно и с полатей не слазить, так дотянешься. Да мотает. Не сразу эти новые тенёта в избу провели, пригляделись сперва. А про-

вели, дак не шибко зажигали их. Да ещё не всегда порядок. Как токо ветер – у их огня нету, тенёта оборвало. Лезти надо на столбы, завязывать. То потухнет, то погаснет, то опять не загорйт.

А теперича карасин обчий, лампочки ёти незнамо хто покупает, незнамо кому и беречь. Вот и светят – солнце само по себе, а столб сам по себе. Да столбы-то тогда ещё делать заставили. Сперва собрали народ, да всё какими-то бумажками трясли. Мол, новая власть приказывает то-то и то-то...

Липинские собрались, дивно пришло. Бояться стали, мало ли – не придёшь, заарестуют либо ещё что. Товарищей было вроде пятеро, столом отгородились, как у их в моде. Федя тут метлеси́тся, Ма́кся Со́ря тоже. Ну как – начальство! Говорить стал один из их, в кожаной тужурке. Сказывают, там, в карманах-то, всегда пистолеты у их, чтобы в любой момент в человека-та стрéлить. Поглядел на народ-от, подбородок голый кверху задрал и говорит:

– Товарищи крестьяне! Доводим до вашего сведения протокол заседания товарищества об электрификации северного куста Егоршинского района. Учитывая необходимость электрификации Мироновского куста в Егоршинском районе, президиум райисполкома предлагает товариществу «Свет и сила» развернуть массовую работу среди населения этого куста.

Народ молчал. Баушка Антанида Пахомовна оттопырила ухо, загнув платок повыше и наморщив и без того морщинистое лицо, изо всех сил слушала. Потом покрутила головой из стороны в сторону и тихоньку толкнула в бок свою сноху:

– Настёна, чё ето ладят делать-то опять?

– Дак не пойму, мама. Кусты, что ли, какие-то садить будут.

– Нашто? Мало емям кустов-то в Липиной?

– Эти, вроде, какие-то северные...

– Ёлки, ли чё ли?

Сосед Мотька ввязался в разговор:

– Да нет, лификацию станут делать.

– Чё ето?

– Это, баушка, навроде ексекуции.

Антанида сохвата́лась за Настасью и начала, было, подвывать, но товарищ в тужурке поднял руку, чтобы, значит, молчали все.

После кожаного стал говорить другой.

– Товарищ Валов вам разъяснил постановление. Электрификация будет производиться на паевые средства. Контроль за сбором средств поручен Фёдору Савватеевичу.

Федя приосанился и важно оглядел земляков. Товарищ продолжал:

– Кроме того, необходимо приступить к заготовке столбов и материалов... Ответственный за это Максим Емельянович.

Со́ря приступит, а как же! Заготовит. Он с молодых ногтей за топор-то хвататся. Чуть чё не по ему дак.

Говорили товарищи долго, новая власть шибко любила собрания. Душа болит – хозяйство ждёт, а попробуй, уйди. Врагом заделаешься. Заставили тогда от каждого двора предоставить работника, чтобы готовить брёвна для столбов, да в землю опóсле вкапывать их. Потом на их тенёта вешали. Это уж сами товарищи ладили, тенёта-те эти не каждому можно трогать – насмерть человека сожéгчи могут. Как всё изладили, давай праздновать. Из Егоршиной приезжали артисты, про новую жись показывали, как, мол, хорошо теперь стало. Тот же мужик, из товарищей, опять выступал.

– Вот, товарищи крестьяне, советская власть принесла свет деревне! Мы не будем больше ждать милостей от природы, взять их у неё – наша задача! Забудьте про лучины и керосинки, которыми подчевал вас царский режим! Теперь всегда будет гореть этот новый свет деревни!..

\* \* \*

Александра и Мария уже подходили к своей избе, когда увидели в конце улицы каких-то мужиков. Похожи на товарищей, одного легко узнать и издалёка – Федя Горбатый. Верно, он. Руками в их сторону машет. Женщины поскорее забежали во двор и задвинули засов на воротах. Александра кинулась в избу.

– Тятя, к нам идут!

Илья Иванович подошёл к иконам, перекрестился, потом встал возле окошка. Авдотья отправила внуков на полати:

– Олёша, пригляди за Нюрой, да не здумайте выглядывать, сидите тут!

Спросила Александру:

– Мария-та где?

– В огороде, стирку вешать пошла.

Мать всплеснула руками и кинулась во двор, вразумить невестку. В ворота заколотили нечестно. Зашли по-хозяйски, сразу взяли в оборот.

– Кротов Илья Иванович?

Хозяин спокойно оглядел пятерых товарищей. Соря в зелёной шапке с вострым верхом и с красной звездой, на плече ружьё. Один в кожанке, в фуражке, хоть и жара, на боку пистолет. Ишо двое «своих», деревенских. Тимоха Забелин – тот всегда подраться был не дурак, хоть бы с кем, всё равно, лишь бы кулаки почесать. Работать – его ишо надо поискать. Эта большая драка ему шибко к душе пришлась, повоевал сколь-то, теперь с властью ходил, порядки наводил. Костюха Кротов, дальняя-роздальная родня, бедняк. Пьёт не шибко, да пошто-то всё не везёт ему, то жена захворает, то скотина падёт, робетёшек много. Пятый – Федя. С этим всё понятно.

– Здорóво, земляки. По делу, али так зашли, про здоровье спросить?

Федя и без того уж приседал с нетерпёжу, скорей бы кинуться, а тут его прóбрвало:

– Тебя, кулацкая морда, щас спросим! Про всё спросим...

Кожаный на его махнул:

– Фёдор Савватеевич, выскажетесь позднее.

Илья обратился к родственнику:

– Ты, Константин, наверно, долг принёс за подкованную кобылу, за дуги да за кадку? Дак я тебе ведь простил этот долг-от, сказано – не отдавай, тебе сгодится.

Костюха отвёл глаза, а Забелин за его гаркнул:

– Сами скоро без штанов будете! Хватит, отзадавались!

– Тише, товарищи! – вмешался кожаный. Потом велел хозяину:

– Пригласите всех членов семьи сюда.

Но все уже и так были во дворе. Александра и Егор вышли на крыльцо, Мария со свекровью выглядывали из-за двери в огород. Кожаный достал бумажку, покёркал в кулак и начал читать. Эти слова, страшные и чужие, никак не укладывались в уме стройно, но на долгие годы врезались в него, как гвозди, вбитые в их жизнь, которую пришли распять: «протокол», «постановление», и числа какие-то, номера чего-то. Прочитав бумажку, кожаный поглядел на своих подельников:

– Ну что ж, товарищи, я думаю, можно приступить к голосованию. Группирование зажиточно-кулацкой части, я думаю, вполне доказано. Кто – «за»?

Тимоха и Соря подняли кверху одну руку. Кожаный кивнул и указал рукой на большие ворота. Незваные гости открыли их настежь, за ними, оказалось, уже стояло три телеги. Федя с Тимохой побежали в пригон и, матюкаясь, начали вязать верёвками коров. Красно-пёстрая Изка и рыжая Мамка упирались и мычали, стараясь поддеть чужаков рогами. Тимоха выскочил во двор и, найдя под навесом мешковину, обмотал ею рога особенно сердитой Изки. Её месячный телёнок Мизирко бежал за нею, жалобно помукивая. Мамку Макся выволок за ворота,

как попало. Кормилица семьи мотала головой и старалась зацепиться ногами за землю, упала на колени.

«Зарежут», – подумала Александра, – «изломали, бедной, ноги-те». Посмотрев на мать, женщина увидела, что по лицу Авдотьи, не морща, бегут ручьями слёзы. Тятя с Егором пошли в конюшню и вывели лошадей. Александра про себя одобрила это: нельзя, чтобы их, сироти́нушек, так же, как коров, вытянули. А ну, как вырвутся? Пристрелить могут их. Брат её вывел серую кобылу Груню, труженицу, ходившую и перед плугом, и перед телегой да санями. Потрепал по холке, погладил, надел уздечку – а то товарищи верёвкой потянут – повёл за ворота, привязал ко второй телеге.

К первой уже были привязаны коровы. Телёнок жался к матери, искал тёплое вымя. Дитё – оно и есть дитё. Мама рядом, значит всё в порядке. Разлучат теперь с мамой, поставят в общее стойло, не знамо – убранное ли, нет ли, на жиденское колхозное пойло, а то вовсе прирежут.

Илья Иванович надевал узду на своего верного друга, тихонько что-то наговаривая ему, поглаживая длинную гриву. Серко́, стройный красавец, сильный, трепетный, чувствовал тревогу и вёл себя, как перед походом. Приплясывал, дул большими ноздрями в лицо хозяину. Прадед его носил деда Ивана воевать против турок, отец бывал в походах, и сам он не раз уходил с хозяином служить. Егор, когда маленький был, всё понять не мог, пошто это белых коней серыми зовут. Теперь вот глядел, как отец обнимает Серка́, гладит мощные скулы и ведёт за ворота. Никогда таких бабьих повадок у него не бывало, лошади в холе, в сытости, ни кнута, ни сапога не знали, но и обниманье тоже. Чувствовал Егор, что сколько бы ни унесли теперь воры, что бы ни отняли, эта потеря всех больнее. Что такое для отца потерять Серка́, когда у него у самого комок под воротом давит!

Кожаный, видать, думал про то же, только наоборот, что это самое большое приобретение. Он даже перестал командовать и стоял, не скрывая, любовался конём. Было ясно, что Серка́ колхоз не получит. Опомнившись, главный товарищ заподгонял своих. Поволокли на телегу гусей, выгнали овец, складывали в мешок куриц. Выкатили из сарая телегу, думали, как вывести сани. Не придумали, пришлось оставить. Из избы потащили сундуки, тюфяки, посудный шкаф, комод, подушки, посуду.

Два сундука и матрас Александры собрались грузить на реквизированную телегу. Илья Иванович подошёл к комиссару, сказал:

– Это дочерино придано, не с нашего хозяйства. Она отделилась от мужа, это увезла с собой.

Кожаный недовольно махнул рукой, сундуки поставили у стены. И без них работы у гостей было невпроворот. Всё, что выковали за годы труда хозяева-кузнецы, изладили мастеровитый столяр Илья Иванович и смекалистый механик Егор Ильич, выткали, сшили, вышили и связали долгими зимами Авдотья и свекровь её, Надёжа, что вырастили в поле и огороде, отправлялось теперь новоявленному хозяину – колхозу. Хомуты́ и оглоб́ли, серпы́ и подковы, столы и грабли с лопатами, сапоги и рубахи, тулупы и пимы́, шали и штуки полотна, юбки и кофты, полотенца и вёдра, горшки и ла́дки, утюги и коромы́сла, хлеб, пшено и сено, даже морковь прошлогоднюю выгребли.

Последними из избы вынесли большие часы с боем, отмерявшие в этом доме время, почитай, пяти колёнам. Егор эти часы всё время держал в порядке, чистил, настраивал, смазывал.

Потребовали ключи от кладовой. «Работники» припотели, таскали уже не так споро. Четыре телеги и скот уже отправились от дома, только Серко́ оставался привязанным к огороду, бил копытами, ворчал и недовольно мотал головой. Кладовая пустела на глазах.

– А это что? – спросил предводитель, пиная ногой дверь малухи.

– Там дочь живёт, её там хозяйство, – снова сказал Илья.

– Чё-то у тебя, Илья Иванович, всё дочерино, чё ни возьми, – встрял Федя.

Товарищи шварили по другому, по третьему кругу в пустых уже амбаре, избе, пригоне. Егор обнимал мать, отец прямо и, вроде бы, спокойно стоял, глядя на гибнущий дом. Всхлипывания Марии перешли в завывание, она пыталась хватать и удерживать то одно, то другое. Её втолкнули в кладовую и закрыли там.

Александра молча и неподвижно, скрестив руки, смотрела на хозяйничающих пришельцев. Никто бы не догадался, о чём она думает. А она вспомнила, как в детстве плакала оттого, что мама унесла куда-то котят. Такие хорошие, а мама унесла. Как же жить-то без котят? И Авдотья ей сказала тогда: «Вот беда – котята! Вырастешь, узнаешь, какое горе-то бывает. Токо не дай Бог!» А Санке думалось: «Какое же может быть горе больше, чем потерять котят?» Гнев кипел у неё в груди. Кожаный обратил внимание на фигуру, которая всё это время молчаливо стояла, как изваяние, и наткнулся на горящий взгляд.

– Ух ты, какие глаза! Огонь. Жанна Д»Арк! – ухмыльнулся он.

Разомкнув, наконец, плотно стиснутые губы, женщина сказала:

– Александра я.

Супротивник снова ухмыльнулся:

– Защитница, стало быть. Я запомню.

– Запомни.

– Думаешь, от зайца ушла и от волка ушла? Давай, открывай своё хозяйство! Шутить с нами надумала? Открывай, говорю, свою конуру! Сама по себе она, видите ли!

– Не имеешь права. Я ни отцова, ни мужнина. Твоя власть разрешила отделяться. Или ты сам по себе власть?

Кожаный стиснул челюсти, повёл взглядом по двору – на чём бы зло сорвать. Увидел в открытых сенцах малухи большой старый ларь, в котором лежали вытканые в эту зиму новые половики. Рявкнул:

– Это что?!

– Моё это.

– Было! Было твоё! Шевелись, выноси!

Александра медленно повернулась и пошла к сеним, стройная, спокойная. Товарищ глядел вслед, скрипя скулами, поневоле любясь ею, раздумывая, что сделать – арестовать её за сопротивление властям или жениться на ней. А она думала, что вот сейчас он выстрелит ей в спину. Дойдя до ларя, женщина открыла его, достала стену половиков, и, взявшись за край, катнула под ноги кожаному. Разноцветная, полосатая дорожка пересекла двор. Следующая, с выкладным узором-«ёлочкой» взлетела и улеглась рядом. Третью у неё перехватили, но от столкновения и борьбы она тоже выскользнула и наполовину раскатилась.

Товарищи матюкались, оттолкнув Александру от ларя, сами принялись шарить в нём. Но там осталось только несколько круглых плетёных ковриков. Ещё раз зыркнув на упрямую кулачку, предводитель пообещал:

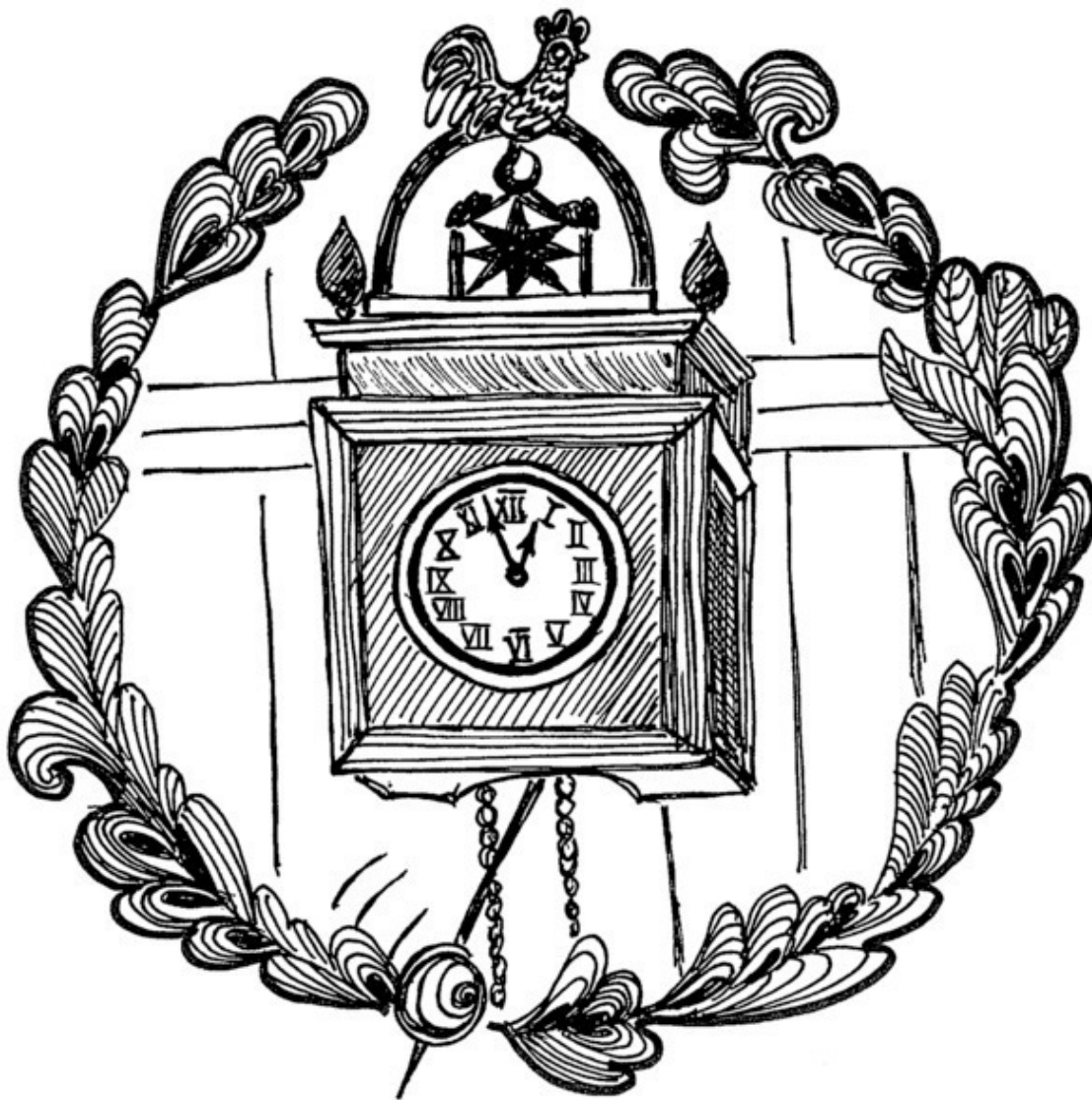
– Ещё увидимся.

Дав команду уходить, он попытался забраться на Серка, но конь был не осёдлан, и без стремени комиссар не сразу с ним справился. Городской, видать. Разозлился ещё больше оттого, что женщина, усмехаясь, глядит на него, пнул коня. Александра подумала, что Серко, понимающий слова, не станет слушаться сапогов, а стало быть, долго ему не жить. О том же, видать, думал и Илья. Оторвавшись, наконец, от места, где стоял всё это время, он подошёл к воротам, закрыл их. Мария всё ещё била в кладовой, Егор отпер жену и успокаивал. Авдотья и Александра были уже в избе, обнимали ребятшек.

Всё семейство собралось под крышей ограбленного, разорённого дома. Молча обходили комнаты, глядя на то, что осталось. В горнице стол, в комнате две лавки, кровать. Рукомойник

не взяли, ухват возле печи остался. И светлый квадрат на том месте, где висели часы. Вот и остановилось время, раскололась жизнь пополам, разделилась на «до» и «после».

Илья Иванович встал на колени перед иконой в кухне, которую, слава Богу, не тронули. Остальные все увезли. Рядом опустились Авдотья и Егор. Если бы слышали товарищи эту благодарственную молитву, шибко бы диву дались. Благодарили, что все живы.



Набранного добра было так много, что не вспомнили гостеньки про подпол. От амбаров да кладовой голова кругом шла. А в подполе была у мужиков мастерская, подо всем домом тянулась, как всё равно вторая изба. Станки там – столярный да слесарный, струмент всякий. Из бабьего обихода чигу́нки, корзины и прочая. И главное – соленья да варенья. А ещё – потайной ход через огороды к реке.

Женщины нашли тряпок, лохáнь, и принялись замывать пол после набега. Скатали так и не собранные с земли половики. Мужики прибирали во дворе, что ещё можно было прибрать. Как стемнялось, Авдотья сходила к соседям, Шелегиным, выменяла ковригу хлеба. Да заодно договорилась с ними, чтобы стаскать к ним кое-которые припасы, чтобы на другой раз их не нашли. Так и сделали. Мать и дочь, Сима и Катя, жили, как говорится, бедно да честно. Не жирова́ли, но в избе прибрано, и хлеб в печи всегда есть. Держали козочку да куричошек сколь-то. Много ли им двоим-то надо? Авдотья, правда, им помогала, когда чё дак, да и Илья

плотничал, бывало, у их по-соседски. Хорошие были обе женщины, часто в гости заходили. Да кто к Илье Ивановичу-то не заходил? С умным да хлебосольным говорить-то – любо-дорого. Теперь, небось, никто не придёт, не жди. Забоятся.

Потихоньку бабы выменяли и мучки, стали опять сами печь хлеб. Картошка ещё не копана, стали её подкапывать, да прошлогодние запасы из подполья. Одежи доброй никакой почти не осталось, особенно зимней. Подвезло тем, что в корыте, в огороде осталось мокрое, так и не развешенное бельё. Занавеску с полáтей ситцевую сняли, из её которо-что сшили, да у Авдотьи в бане лежали узлы, выстирать да кому-нибудь подать. Теперь сами себе подали, сгодилось. А не имели бы привычку подавать милостину, во что бы оделись теперь? Те, к кому они были милостивы, ничего им не подадут. Кто со зла, а кому боязно.

Егор начал с отцом говорить сыспотíха, чё, мол, дáле-то делать станем. В колхоз заставят вступать, да и придётся – как жить-то? Илья сказал:

– Пока терпит. Оне ведь пошто-то не заикну́лись об колхозе-то? Им добро наше заноза, да земля, грептéло попользоваться. А нас им не надо.

– А про Перфиля чё думаешь, тятя? Может, ехать теперь к им?

Отец, как всегда, тихонько и спокойно ответил:

– По русским мужикам стрелять?

– Оне по нам стреляют, дак ничё.

– Это на их совести. Перед Богом поодíнке отвечать станем, там кивать не на кого, не скажешь – оне, мол, стрелять зáчали, и я тоже, на их глядя. Ты сам-от как думаешь, Бог-от каких людей-то создал? Красных али белых? Вот тó-то, все однáкие.

– А на войне как? Ждать, ли чё ли, когда тебя убьют, ничё не делать?

– То война. Скажут, на немца идти – щас же соберусь, видали мы íхну канáльску породу!

– А это разве не война? Это не орда?

– Эту орду русские матери родили, русская земля взрóстила, в русской церкви крестили. Враг человеческий их задурíл, наслал на нас. А Господь то попустил. Против Него не пойду.

– Мы не пойдём, други не пойдут... А кабы все пошли, может бы отстояли прежнюю жизнь? Кабы все вместе?

– Все пойдут – все и погинут, и те, и эти. А хто в Рассее останется? Хто жить станет в Божьем мире? Ты по-другому рассуди: не кабы все пошли, а вот кабы все не пошли? Нихто бы ни на кого не пошёл – ни мы на их, ни оне на нас. Вот как надо.

– А эти, стало быть, будут распоряжаться тут?

– Будут, покуда Бог им предел не положит. Молиться за их – не ведают, что творят.

Как зиму жить, сколь ни думай – не выдумаешь. Мужики решили ехать, искать где-нибудь заработки. Голова есть, руки есть, грех жаловаться. Мастера умелые не пропадут. Александра тоже собралась с имя. Шить, мыть, стряпать – нет того, чего баба не умеет. Авдотья с Марией останутся ребят да избу дозирáть.

Приезжали Мариины отец с матерью, уговаривали отстать от мужа.

– Чё ты, Мариша, будешь за чужое добро страдать?

Всё ведь так в жизни-то, как пользоваться – тогда своё, а как отвечать – чужое. Хотя никто не перёчил, сказали – смотри сама. Ей вроде бы хотелось уйти, да как знать, может, дáле-то всё обойдётся? Но заподумывала.

В деревне новый праздник был – праздновали их раскулачивание. Не шибко, пошто-то, людный. Человек с десятков ходили по улице с гармошкой, пели про революцию, про советскую власть, ругались матерно на старый режим. Потом снарядчиками снарядíлись. Скатерти домоткáнные, бордовые да жёлтые, Авдотьиная работа. Сделали из их навроде облачения, крестов нашили да ходили, батюшек просмёивали. Правду молвить, немногие так-то делали. Хотя одёжу свою на земляках раскулаченным видеть приходилось, носили те её, не стеснялись.

Весть пришла – Шабуровых и Максима Соколова раскулачили, из домов выселили. У баушки Антаниды весь дом разорили, семейных увезли куда-то. С ей удар через это сделался, с параличом слегла, и ходить за ей некому. Авдотья к ей потихоньку начала захаживать, в сумерках конечно. Покормит её да обиходит.

Стало ясно: баб одних дома оставлять нельзя, а тем более, если Мария отделится. Александра сходила в Борисову, к дяде Ивану Петровичу. Те, конечно, знали про ихну беду. Про себя сказали, что их трогать не будут, в списках нету. Записали их середняками. Как началась эта мешанина, Иван Петрович потихоньку начал лишнее которо-что сбывать с рук, чё попрбдал, чё попрятал. Правда, деньги те потом всё одно пропали, но зато вот сами живы остались. Корову отобрали в колхоз, зерно тоже, но потом отстали. Александра взяла у борисовских телегу, лошадёшку нашла. Вечером поехала в Липину, собрали из её приданого, что осталось в малухе, всё, что можно было припрятать на потём, оставили самое нужное. Александра увезла ночью всё это в Борисову, вернула лошадь, и утром пешком вернулась опять в тятин дом.

Это они в аккурат успели, а вот на работу уехать не пришлось. Товарищи явились к ним через день, рано утром, уже не пятером, а восьмером. И ружей поболее, чем тот раз. Скомандовали собираться, дали десять минут. Оделись кое-как, лопотины, какие оставались худенькие, что на них тогда не позарились, да кто что успел схватать, с тем и посадили на подвбды и повезли.

Мария была в огороде, мужики во дворе, Егор едва успел жене туфа́йку да платок вынести.

– Где остальные? – товарищи забежали в избу. Авдотья уже под порогом, завязывала узел с чем-то, что успела собрать. Поспешила послушно выйти.

– Иду, иду, тут я.

Прямо лоб в лоб перед ней оказался тот самый распорядчик, что в кожанке.

– Где ещё одна? – жёстко, в упор спросил Авдотью.

– Дак нету её тут. Уехала, то ли в Егоршину, то ли в Коптелову. Вроде, взамуж там кто-то её позвал... Не отписала ишшо.

Мать уверенно врала, защищая своих детей, а сама думала: «Понесу Богу ответ». Сызмалётства привычка – следить за своей совестью. Всяк Еремей про себя разумеет. И в голову не приходило сравнить себя с теми, кто заявился к ним снова, как тать ночной, вовсе не думая ни про Бога, ни про ответ Ему.

На самом деле, когда товарищи забарзили в ворота, Авдотья с Александрой были на кухне. Дочь доставала из подпола банки и подавала матери. Авдотья крикнула дочери: «Сиди там!», живо сдёрнула с полатей внучат и отправила туда же. Только успела перекрестить их да сказать на прощанье: «Уходите с Богом!»

Когда повозка с выселенной семьёй тронулась от избы, Александра с робетёшками бежали уже вдоль речки к лесу. День там просидели, на бруснике да на воде из ключика. Как стемнѣлось, прокрались к избе Симы Шелегиной. Пустили их, Алексию с Нюрой похлёбки дали. Александра токо чаем погрелась – зачем лишнюю обузу людям делать? Сима рассказывала: «Видели, как в вашем добре нищета красуется? Я говорю: « Катю́шка, ты не здумай чё-нибудь взять! Они идут в хорошем, да в чужом, а ты в худом, да в своём».

Беглецы переночевали, утром за́светло пошли в Борисово...

\* \* \*

...Подвбды тоскливо катились в сумерках. Пять телег с сидящими и лежащими в них людьми, тихими, придавленными и оглушёнными неслышанной, бесчеловечной бедой. Товарищи ехали по краям с двух сторон, верхами, все с оружием. Вторые сутки доходили, как выехали из Липиной, а по сю пор никто из арестованных не едал. Да и непонятно было, ста-

нут ли их кормить, или будут везти, пока все не перемерут. Останавливались вчерашней ночью, как уж вовсе стемнѣлось, а как чуть просветлело, тронулись дальше. Дорога уже пошла незнакомая. Много поездил Илья Иванович, и в походы, и на ярманки, а на этой дороге не бывал. Вот и привѣл Бог.

По солнцу выходило, вроде, едут на восток и к северу. На третий день с утра раздали немного хлеба. Воду пили только на ночлегах, из ключика али из речки. Добавились ещё новые телеги с такими же выселенными людьми, и пока выстраивали обозы заново, тут пронеслось, что везут их в Тобольск. С Кротовыми ехали луговские муж с женой, молодые ещё, примерно Егору с Марией годки. Женщины иногда тихонько начинали всхлипывать и причитать, и тогда охранники, замахиваясь на них, кричали:

– Ма-алчать! Ехать тихо!

Марию то и дело мутило, остановиться было нельзя. Раз пришлось ей слезти с телеги и потом догонять под присмотром. Авдотья, догадавшись, что сноха в тяжести, неведомо откуда извлекла какую-то травку и велела ей понемногу жевать и держать во рту.

– Я вечор, как остановились, приметила у дорожки, изловчилась, сорвала потихоньку. Да жалко, что один только кустик был. Помаленьку щипли, надбле хватит. Дома бы сказа́лась – может, я бы сумела взять с собой.

– Думала – успею ишшо...

Так оно, кто же мог представить такое лихо? Всѣ думали успеть люди, каждый ладит жить, хлеб сеять, деток рѳстить. Илья Иванович за всё время не обронил ни словечка, да и семья не сколь много разговаривала – об чём? Сторожа́ ихние наоборот держались весело, смеялись, перекрикивались. Больше-то надсмехались над теми, кого гнали теперь на незна́мо какую судьбу. Особенно, когда люди молились утром да вечером, и так, когда душа просит – а она теперь криком кричала, как же без молитвы? Красные герои принимались гоготать:

– Эй, дед, гляди, вон Боженька к тебе спускается!

– Наверно, сало тебе несёт!

– Ну что, когда Он вас спасёт? Скажите, когда ждать Его, мы ружья зарядим!

Илья Иванович думал о том, что вот так же, может, даже по этой же самой дороге, в тот же Тобольск везли его государя, и жену, и деток. И так же он со смирением принял участь свою, не противился палачам. А Сам Господь? Не так же ли был терзаем и оплёван теми, кто вчера ещё восхвалял Его, кого Он исцелял, наставлял, окормлял и Словом, и хлебами? И лишь молвил: «Не ве́дают, что творят».

И эти, безумные от развязанных рук, оттого что всё позволено – бери, сколько унесёшь, бей, пока рука не устанет – опомнятся ли они когда-нибудь? Не они, дак дети их, либо их дети. Сколько верёвочке ни виться, а конец будет. Разве понимают эти весёлые мѳлодцы, что делается их руками? Сказали: «Бейте!» – они бьют. «Берите!» – они берут. Не к плугу, не к мѳлоту силу молодецкую прикладывают – к ружью да к пулемѳту; не на материнских песнях возрастают – на крови человеческой, братской. Верно сказано: родила корова телка́, да не облизала.

А кабы остановились чуток да призадумались, авось бы и смекнули, что ежели один полный колос да к другому полному колосу приложить, да ещё сто таких полнѳхоньких колосѳев – какой сноп из их получится? Полный, тучный. Прокормит и зиму, и весной найдѳт, что в землю уронить. А если вытрясти зѳрна, обколотить колоски, что из таких обколѳтков выйде́т? Таким пучком срамно́ и двор подмести.

Из крепких людей сложится крепкая страна. Если каждый казак силѳен да здоров, и весь полк будет молодец. А коли хилых да трусливых набрать – армии не сложишь. Даку кому надо стало ослабить их, разделить один по одному? Пожи́ва, конечно, для их немалая получилась, попользовались хорошо. Но это попутно, как мародѳрство. Не за ради этого всё затеяно, тут задача другая. Эти вот, которые тут на их щас гавкают, не волки, а волчата. Над ими есь волки,

а над теми – псаря. Волчатам забава, волкам – пожива, а псарям власть. Кому вот токо это задалось? Видать тому, кому вся Россия поперёк горла стала.

Осиротили деревню, выгребли всё у кулаков да в одну кучу склáli, а да́ле что? Ежели раньше кто своего нажить не мог, чужо́ сумеет уберечь? Дай вору золотую гору – скажет: мало. Разве ж понимают теперь? Поймут, когда кушать станет нечего, а грабить больше некого. А может, эти и никогда не поймут. Поди, не из деревни, городские, а то и вовсе без роду-племени.

О многом ещё думалось, о своих, которые рядом, и которые *там* остались. Нельзя сказать «дома», потому что дома у них больше не было.

Авдотья насчитала десять дён, как они ехали. Мёшкотно тянулись. Под конец никакого жилого огонёчка не видали даже издалёка, лес да дорога. Под вечер вывалили виноватый народ с телег где-то в лесу, бросили четыре топора на всю артель, да пару котелков, заворотили оглобл и были таковы. Поиздевались напоследок, не без этого. Мол, варите кашу из топора!

Нарубили сучьев, разложили костры – у кого нашлось кресало, у кого спички. Повалились на землю, кто как сумел. Встретив первый рассвет на новом месте, сперва побродили вокруг, потом – надо как-то наладиться. Собрались с духом, совет держали, кому чего делать. И в Липиной тоже ведь когда-то поставили первый сруб в чистом поле, дак где наша не пропадала. Поплевали мужички на ладони, да пошли ладить избу. Одну на всех пока. А всех было боле четырёх десятков, и с робятёшками. Бабы обошли вокруг по лесу, приметили, где чего, которо-что из еды пособрали. Но разве ж это еда – без хлебушка. Авдотья травки брала, успевала.

Илья Иванович работал вместе со всеми, а думы его не оставляли. Да и другие, поди, так же, дело делают, а думу думают. Вот поставят барак. Травы бабы руками нарвали, посушили, постели изладят. Лес чего-нибудь даст, гриба́, ягоды. Зайцы есть, может, птица, ружьишка нет ни единого. Да и не шибко хто к охоте привычен, от земельки кормились. А от волков как обороняться? Как Бог даст. Петли, силки из травы опять же наделали, попалось сколь-то раз, было жарко́е. Без соли, без хлеба, без карто́ви. Как-то на козулю натака́лись. Петлём поймали, топором бить пришлось. Речушку нашли, одно название что речушка, так – ручеёк. Однако рыбёшка маломальная нашлась. Мелкая, да идти далековато, но всё розоста́вок. Нашли глину, камней от реки натаскали, сложили две печурки. У кого ножик за онучами сберёгся, пригождался шибко.

Ежели не думать, как оно дальше, жить одним днём, так ничего вроде. Токо как не думать-то? Разве хоть один из их не думал теперь? Сёдне оману́ли голод, ночь отвели, а потом чё? Ну, дрова есть, лесу хватит. А чем кормиться зимой? С топорами на охоту ходить? Оде́жа у кого какая, у кого никакой. Бабы которы и без чулок, да и мужики хто как, у кого вовсе ничем-ничего нет, врасплох супостаты застали. А захворают? Да и кабы всё бы у их было, и поись, и одеть, хто оне для России? Нашто́ их сюда свезли́, всего лишили? Вот то-то и есть. Не на жилбе́ их прописали, а погину́ть тут велят.

Как-то утром хватились – нету пятерых, луговских-то мужа с женой да ещё троих, которы по дороге добавились. Через четыре дня скачут товарищи, и баб беглых волокут. Велели всем выстроиться, и давай орать да страща́ть. Мол, живых вас оставили, а надо было всех передавить, а не то́ко ётих двоих. Да токо хто ишшо посмеет бежать, дак вам ето же будет! Когда уехали, бабы-то, что вернулись, сказывали, что мужья ихние схватились драться с красными-то, да те их застрелили.

Дождить начало враз как-то, да лило бесперечь. На улицу не выйти. Голодом сидели, да закашляли многие. Авдотья ходила от одного до другого, отваром поила. У одной бабы ребёночка приняла. Малюхотной, слабосильной. Недели не по́жил, не крещён – не отпёт, лёг в чужую земельку, в глухом лесу. Мать и не поднялась, всё лежала, иссыхала день ото дня. Авдотья думала про Марию, что вот тоже ведь вре́мё подойдёт.

Люди, бывало, начинали разговоры про свою беду, да ни к чему – так и бросали. Уговорились вроде: мужикам не роптать, бабам не реветь, чтобы друг дружке сердце не гнойть. Крепились, сколь могли. Да и беда крепилась, не отступала. Хуже всего робятам, примолкли пташки. Играть нету силёшек, да и понимают, что не до игры. Повáдились возле Ильи собираться, побасёнки слушать. Когда баба-та та родила, он емям сказывал:

– А я, пáря, на покосе родился. Вижу – народ-от сено косит. Ну, я сразу взял грабли и пошёл сено грести.

Глазёнки округлят, слушают. Один жалуется:

– Меня, дéдо, робята дразнят.

– Вот моёва Егора тоже дразнили маленькова-то...

– А неуж он маленькой был?

– Был. Кротом дразнили. «Ты крот, ты крот!» А он ему: «Ну, я крот, нас... ал тебе в рот!»

С той поры отстали.

Хохочут.

– Ты, главно дело, не робей.

– Дедо, а баушка Дуня вылечит моего тятю?

– Знамо, вылечит. А ты знашь, какá она была, баушка-та Дуня? Маленькая, одна щека в саже. Я щёку-ту ей вымыл, вырастил её, потом женился.

\* \* \*

В Липиной готовили новое правление колхоза. Трёх баб снарядили прибраться. Оне быстрёхонько управились. Нечего прибирать-то, сказанули тоже: у Кротовых дом прибирать! Токо пол пришлось замыть, его уж затоптали, да набросали окурков. На воротах прибили вывеску, что мол, правление тут. В избе тоже красная тряпка – «Вся власть советам!» Ну и разная прочая, чего там полагаются, натащили.

Федя Горбатый залез на полáти и глядел сверху на председателя, комиссара и других товарищей. Зима наступала на пятки, дела в колхозе были не ахти. Привычки нету, никто ладом не знат, чё к чему.

– Фёдор Савватеевич, спускайтесь, пора начинать.

– Я говорю: как светло в Липиной-то стало, кулаков-то выселили дак! Прямо свет в деревне-то!

Перед домом ждал народ, собрание колхозников. Начальство выступало, Федя поддáкивал, Мáкся Сбря с ружьём своим припёрся. Народ молчал.

– Ну, что же вы, товарищи, активнее, выступайте. Что вы можете предложить по укреплению нашего колхоза?

Кто-то из мужиков в задних рядах пробубнил:

– Ага, выступайте, давайте. Довыступаете – отправят, куда Макар телят не гонял. Али ёнтот жáхнет из ружá.

Сколь-то помолчали. Потом Клавдэя, шустрая одна бабёнка, не выдержала:

– Ты мне скажи, председатель, как нам самим с ног не пасть? Мне робятёшек чем кормить скажешь? Я день-деньской на коровнике, мужик на конюшной, а онé одне в избе. Наделают чё-нибудь себе, хто за имя приглядит? Домой придёшь с колхозу, дома на зуб бросить нечего. А молочко забыли, как и пахнет. Ране-то у худенькой вдовёнки была коровёнка, а теперь что? У меня пять куричошек было, и тех унесли.

У комиссара уже глаз не по-хорошему заблестел, чё бы было – неизвестно, да Клавдея заревела напоследке-то. А он из тех мужиков был, которые бабьих слёз не признают. Раз, мол, ревет – нечё её слушать. Председатель струханул маленько, и скорёхонько на друго перевёл: велел Петру Забелину выступить. На его влась обнадёивалась – из маломáльных середняков,

скотину сам привёл в колхоз. Скажи, мол, чё-нибудь про колхоз дельное. Он вышел, поглядел на народ, опнул.

– Сказать, говорите?.. Скажу. Хресьянску курицу забрели, вся деревня заревели!

И отчаянно махнув рукой, подытожил:

– Я всё сказал.

Не оправдал, в общем, доверия власти. И как-то собрание на нет – на нет – на нет сошло. День как-то не задался.

\* \* \*

Александра с ребятами приютились у дяди, Ивана Петровича. На улицу шибко не показывалась, в избе, в ограде с хозяевами робила. Когда кто зайдёт – старалась на кухне быть. Робятёшек на улицу тоже не пускали, скажут – чьи, откуда? Никаких разговоров не вели, домашние молчат, она и подавно. Чё тут скажешь? Как понять, что делается и решить, что делать? Утром не знаешь, что днём будет, вечером неизвестно, что ночь принесёт. Что за жись настала, за что уцепиться, на что надеяться, куда идти? Сидели по домам, у кого они были, ждали, незнамо чего. За кем ещё придут, кого обнесут? Вот дядиных пока оставили, да в колхоз ждут, идти надо.

Да и Александре покою нету, хотя вроде и разрешили отдельно жить, да кто их знает? Сёдне так, завтра эдак. Разве могла она когда подумать, что будет сиротой бесприютной, и не будет знать, чем детей накормить, где их положить? Лежала теперь ночи напролёт, уснуть не могла – хоть глаза сшей. Дума за думу. Сколь так-то биться? Не век по людям прятаться. Слава Богу, что борисовских не выселили, где бы она щас была! Но дальше-то куда? В город ехать, родных мест лишиться? А про тятю с мамой, про Егора думать было невмоготу, слёзы не моршá бежали. Хорошо – в потёмках-то никто не видит.

Однако подумать было надо. Представить, что вот она насовсем осталась одна, без них, никак было нельзя. Этого быть не может, не должно, это всё омман, приснилось только. Ум понимал, что происходит не её одной беда, а одна большая беда на всех. Во всех деревнях людей обобрали и выселили, и в городах тоже, и убили многих. Но душа никак не хотела с этим мириться. Как же это её любимый тятя, мудрый, сильный, где-то, может, в чистом поле без крошки хлеба? Как же мамонька родимая, мастерица и работница, не имеет, чем прикрыться от непогоды? Братец милый не знает, куда головушку приклонить. Неуж это она попустит? Ведь она-то на воле, руки-ноги целы, голова на месте.

И изнуряла она так свою голову думами, вопросами, а где не хватало ответов, стала искать их, потихоньку приспрашивать. Перво дело, конечно, дядя, что он думает про всё это, что знает. Иван Петрович токо головой качал.

– Если бы то несоразумение было, либо ошибка, тогда можно правды поискать. А тут всё от ума делается. Задались они, значит, всё это изломать-то.

– А для чего задались? А, дядя Иван?

– Видать, чтоб богатых не было... А пошто? Пойди, пойми их. Да и не может того быть. Ежли в одном месте убыло, стало быть, где-то прибыло. А у кого прибыло? Кто забрал, у того и прибыло. У одних взять – другим отдать. Да ишо внушают – это, мол, по справедливости. Вот всё орут, мол, разруха да голод. А кто их наделал? Кто изломал? У нас нечё ётого не было, и ишо бы стоко не бывало. А оне вон чё нарбобили, а теперь говорят: «Вон какá беда на нас нашла!» Сама, ли чё ли, нашла? Енто, к примеру, я щас избу свою запалю, да сам и заору – мол, пожар, пожар! Беда, мол. Ладно – нет, эдак-ту? Здумали жись передельывать, а нас спросили? Мы нечё передельывать не собирались. Не такая Рассея, чтобы её передельывать... Да, ишо, слышь-ко, мы же виноватые. Мы себе жили, некогб не трогали, вдруг – нате вам! Вы, говорят, белые бандиты, всё наше хозяйство разорили. А мы, мол, сделаем – всем хорошо будет. Вон как хорошо стало, не знашь, куда бежать...

В народе только одно говорили: конец света это. По всему видать. Смертоубийство, голод, с ума все сошли, беспорядок, грабёж, срамота всякая, Бога клянёт. Частушку сложили про это:

Навалилось на нас горе,  
Видно – вышло нам пропасть!  
Пляшут бесы на заборе:  
«Наше время, наша власть!»

В конце концов, Александра поняла, что без толку обдумывать, что делается кругом, и зачем, кому это надо. Этого ей не решить. Надо ум направить на своих. Как им помочь? Если живы ещё... Об этом даже думать не надо! «Помоги, Господи!» – только и шептала. За что выселили, почему? Какую вину на них навалили? В бумаге-то, которую оне читали, ничё не поймёшь. Одно что, мол, хозяйство. Зажиточные, мол. Ну, хозяйство, дальше что? Почему им нельзя пользоваться тем, что сами изладили, вырастили, а другим ихное отдали – тем можно пользоваться чужим. Живут люди, делают чё-нибудь, вдруг – пришли, всё забрали у их. Ну, чё это к чему? И какó вобще-то кому дело, у кого чё есть? С чего считать-то зáchали? Люди живут, у всех чё-нибудь есть, человеку ись-пить надо, одеться-обуться, как безо всего-то жить? Кто как робит, так и имеет, как потóпашь, так и полóпашь. Можно грабить, ли чё ли?

Шила в мешке не утаишь, помаленьку прознали в соседях, что она тут живёт. Да и чуток обвыклась – тихо вроде пока. Начала выходить на улицу.

В Борисовой тоже было правление, общие собрания. С флагами ходили да песни пели. Прислушивалась, приглядывалась, и думала, думала. Вот так и узнала, что обвиняли кулаков, что, дескать, не сами они нажили добро, а работников держали, они спины гнули. Так она и знала, так и чувствовала, что не всё просто! Должен быть какой-то обман, фокус какой-то. Вот оно что! На вранье беду-то людям подстроили.

Гнули спины-то, ещё как гнули! И тятя с мамой, и дед Иван с баушкой Надёжей, и братец с жонкой, и свёкор со свекровкой, и муж её, и она, и робята малые, чё по силам дак. И Шабуровы, и Максим Соколов, и баушка Антанида Пахомовна – все были работники добрые. А ещё держали они у себя батраков – Серка с Грунею, Изку с Мамкой, славные были работники...

Оттого и Иван Петрович не мог сказать, что к чему, потому как вранье. Разве до такого подумаешься? Теперь главно дело: как всё исправить? Прежде всего, куда бежать, к кому обратиться? Должен быть всегда кто-то, кто в силе, кто главный, кто может решить любое дело. «Помоги, Господи!»

Оставила робят у родни и пошла в Егоршину, на станцию. Села в поезд и поехала в Екатеринбург.

\* \* \*

Утрами по лесу туман плыл, потом грязь стала подмерзать. Давно начали печки подтапливать. Дров, веток, щепы напасли, да и так, когда ведро, ещё рубили в запас. Всё—таки не жарко было в бараке. Изба без гвоздей поставлена, травой утыкана, глиной замазана. С едой хуже всего. Двое мужиков уж ходили искать, где кто живёт ли поблизости. Вроде бы чё-то у их припрятано было, дак на хлеб выменять. Пришли ни с чем, на простой. То ли правда не нашли никого, то ли дорóгой мёну-то съели.

Илья Иванович подозвал как-то сына пошептаться. Мужики в лесу были, на промысле. Луки изладили, зайцев бить. Вобще-то их нельзя ись, мягколапых, да чё тут сделаешь? Да, может, где какая птаха попадёт. С тетивой хуже пришлось, где бабы гасники, где из портков вязки в ход пошли. Мало-мало стрелялось, да худо. Тоже, навик ведь надо иметь. Илья с Егором отстали маленько от артели.

– Вот, Егор Ильич, налаживаться станем – домой идти. Весны нам тут не видать.

– На смерть идти. Нас застрелят, баб вернут.

– А мы с Богом пойдём.

Отец понимал, что не в спор сын ему говорит, а в рассуждение.

– Как идти-то, тятя? Куда? Дома нету, дорогу не знаем... А Марие как?

Илья Иванович поглядел куда-то поверх деревьев:

– А потихоньку.

Авдотья, как услышала, чё муж ладит делать, будто токо и ждала. Ум, конечно, ужáхнулся, а в душе как просияло. Давно она приглядывалась к Илье, как он на молитве задумываться стал, ровно кого слушает. Видно положил Господь на душу – идти. Здесь всё одно пропадёшь, а так может и выгорит дело. Упал в реку, гребни – и выплывешь, шевелиться не станешь – камнем на дно. Скоро снег падёт, боле ждать нечего.

Часов никто не знал тут, вставали и ложились по солнцу, дни на досочке царапали. Надо как-то было уйти до свету, но чтобы маленько розвиднелось. Как отошли от избы подáле, опну́лись на молитву. Господи, Матушка Пресвятая Богородица, святитель Николай, помогите нам, грешным!

Пошли в обратную сторону, туда, откуда их привезли, по прбсеке. Дальше просек не было, это они изучили, пока жили тут. Видно, то их здесь и бросили, что ехать бóле было некуда, а то бы ещё дальше свезли.

– От Тобольска вёрст, я думаю, с полтыщи будет. До Покрова придём – нет? Наверяд ли.

Разные пути выпадали казаку, а такого не было. Командиром сам себе, в полку половина – бабы, вместо карты – звёзды на небе да Ангел-Хранитель. Слава Богу, по светлу по глухим местам пробрались, к ночи из лесу на жилбе вышли. Перекрестясь, выбрали избёнку с краю, постукали в окошко. Не обрадовались, конечно, им, но пустили в сараюшку. Овечки там, не шибко холодно. В сено зарылись, друг дружку грели, ночевали. Засветло хозяйка тихохоньку зашла к им, сунула пол-каравая да пару картбвин. Велела уходить, мол, мужику своему не верю, как бы не выдал.

Пошли, благословясь, дáле. Теперь жилого больше станет попадать, днём нельзя идти. Больше по опушкам, в поле-то наехать могут, далёко видать человека-та. Деревни по околицам обходили, кое-когда, перекрестясь, куда-нибудь шкрябались. Кто руками машет на их, кто в окошко вкрадче сухарей сунет и спрятается. Раза по три пришлось сутками идти – никто не обрадёл, не принял. В поле спать – замёрзнешь, огонь зажэгчи – увидят. Если где сено попадало, в ём прятались, пока не стемняется. Как-то увидали издалёка – скачут. Вон стога стоят, да не успеть зарыться-то. Бог послал овражек, кустами хорошо прикрытый. Попадали туда, дыхнуть боятся. Подъехали красные к стогам, да давай штыками в их тыкать. Заматерились, покрутились около, да ускакали. Помолились ходоки, благодарили Матерь Божью, что заступила их, с темнотой опять отправились.

Случались попутчики, таки же бездомники. Опасливо, и те и эти друг дружку боялись, но ничё, шли до жилья, а там – всяк в свои козыри. Тоже ведь и дорогу надо вызнать, вот которы ходки им и показывали. Одинова подвезло, какá-та бабёнка на телеге прокатила, версты на четыре ноги поберегли. Другой раз мужик один середí дня их в возке провёз, какí-то корзинки, мешки пустые у его там. Беглецы на дно в возке-то устроились, он их етим добром-то накрыл. Подумывалось, конечно, что вот шас возьмут да подвезут их к чекé. Нет, всё ладом проходило. Авдотья всё новые имена к молитвам добавляла: «Спаси, Господи, и того, и этого, и эту, и нам помоги, грешным!»

Как-то скрывались у одних, Авдотья по воду вышла, хозяйке пособить. Два шага от ворот-то, вовсе рядом. Да и сумерки. И вдруг – шум, топот, двое товарищей с ружьями четверых человек гонят. Авдотья замерла у колодца, спиной отвернулася, наклонилась, воду набирает. Ежли испугаться, кинуться во двор – подозрительно. А так – берёт баба воду, да и всё. А они возьми да остановись. Сперва солдаты с лошадей соскочили.

– Тётка, дай воды!

Вон как у товарищей-то принято – «тётка». Наш бы человек, деревенский, да в старое время сказал «мать», а то «матушка». Да какой уж спрос, когда оне с ружьям на людей-то!

– Пейте, мблодцы, на здоровье.

А в голове: «Матушка Пресвятая Богородица, пронеси!»

Напились, сели, поехали. Тут люди-то запросились у их попить. «Смилуйтесь, ради Христа, можно нам хоть губы омочить!» Ну, дозволили всё-еки. Авдотья шёпотом перемолвилась с ними. Про их. Про себя, конечно, ни гу-гу. Будто хозяйка тутошная. Така же семья, так же ушли, вот гонят их обратно.

– А у нас на днях тоже беглецы мимо шли, воду ётта пили...

– Гиблое дело, мать. Если кто ещё придёт, пусть назад поворачивают. Всё одно – поймают.

Токо отошли подáле, она скорей в ворота. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Своим обсказала про это, хозяевам – молчок.

А потом и всем им довелось увидеть, как гонят двоих беглых. Краем леса шли, за кустами прятались, а тех по дороге гнали. Сердце зайдётся, а помолятся, да опять идут.

Бывало, денёчки тёплые вы́дадутся. Идут по дороге, и солнышко начнёт выглядывать. Помаленьку, помаленьку, красное сперва, потом вы́желтит, и уж засветит всюю. Каждую щепочку, каждую былиночку осияет, не забудет. И на душе вроде потеплее делается, вроде и не было никакой беды, так токо, сон худой привиделся, да и всё. Нигде такова свету нету боле, как над деревней утрами. Никто солнышко не загораживает, разве пригорок какой, да и то ненадолго. А все – лес, поле, речка, избы – потягáются, подставляют на тепло свои бока, щурятся на свет, радуются ему. Жалко прятаться от такой красоты да от тепла, а приходилось.

Попалось им селение Карачино. Большое, боле Липиной-то. Зашли в один дом, Авдотье показалось – больно на свой находит. Огляделись, дак обалдели: обстановка знатная, а книг сколь! Не один шкаф, и всё в книгах. Думали: ну кто-то им попался, грамотные, сдадут – и в бобы не ворожи. А их приняли лучше лучшего, накормили, с собой дали. Ночевали беглые у их, как у своих. Грешным делом ещё подумывали в тот день-от, не будет ли всугóнь за ими погоня. Нет, ничего, не подлые хозяева попали.

Да, правду молвить, ни одних таких не попало. В тако-то вре́мё, когда люди и куста боялись, сам не донесёшь – на тебя донесут! А тут ништо, нигде. Авдотья всё потом говорила: «Я токо через одно раскулачиванье убедилась, что Бог есть. Чё хошь скажи, а я по себе знаю».

Двадцать одне сутки шли. Напрямки да на лёгкой мэне бы вышло, да ведь прятались, путь незнакомый, да бабы. Марие под конец совсем худо стало. Сембóй месяц ей доходил, рано бы ишшо. «Чую, мамонька, не дойду. Шибко бьётся. Чё это мы задéлам?» А Екатеринбург уж близко был. Хотели там спрятаться, мол, народу много, перемешаться посреди людей-то. Хто-нибудь пустит, а на хлеб они уж заробят. А там в Тагил уйти.

Дотянули таки до городу, сразу к церкви вышли. Илья Иванович бывал в ей в стары годы. Как-то не закрыто оказалось, и батюшка живой, служит даже. Указали им старушку, пустила их в комнатку. Ночевали, мужики с утра сразу пошли на рынок, работу найти. И вот-вот уж у их всё сладилось, откуда ни возьмись – товарищи. Пролетарская милиция. Хто такие, почему, что? Сразу в зуботычки. Ну и в тюрьму конечно. Вот тебе и пришли домой! Илья Иванович успел токо сыну сказать:

– Это ништо, не робей, ничё емям не говори. Бог-от на что!

Врозь их развели. Всё так делали, чтобы, значит, не сговаривались. А чё толку-то? Сговаривайся, не сговаривайся, так – тюрьма, и ек – тюрьма.

Мужики утром-то ишшо уйти не успели, как схватило Марию. Оне тó и поспешили, мы, мол, свои дела станем ладить, а бабы свои. Да вышло – бабы-то лучшее их поправились. Приняла Авдотья у снохи парнишечку, крохотного, слабёхотного. Ну, заревел, дак, может, оклемаётся. Положила на живот его матере-то, велела так держать всё время. Дома бы над навозом

выпарили, недоношенных-то всё так выхаживают. А тут уж как придётся. Ладно, хоть молоко есть, берёт вроде, ест помаленьку, слава Богу.

Стали мужиков ждать. Ждали, ждали, все жданы прошли – нету и нету. Вот стемнётся, ночевать надо, чё делать-то боле. Утром Авдотья пошла искать, дошла до рынка – сказывали, что туда пойдут дак. Насилу доспросилась, какá-та бабёнка сказала ей, что да как. Кинулась сразу туда, к тюрьме-то, да опомнилась: а ну как и её заарестуют, куда Марие деваться? Опамятовалась, села на лавочку. Поплакала, конечно, не без этого. Ревёт да молится, молится да ревёт. Реве, не реви, иди обратно на квартиру.

Мария сразу в слёзы, да с причетом.

– Ой, девка, не реви, парнишку-то пупок надорвёшь!

Где там! Помолчит, да опять за то же. Авдотья уж сама-та держится, чтобы их не травить. Робетёнок конечно забеспокоился, ись худо стал. Вроде маленько Мария образумилась. А нет-нет, да опять затрясётся. Так и сидели в своей норе, одна ревёт, другá молится.

Кормиться, однако, надо как-то. Пошла Авдотья к тому же батюшке, подсказал, где можно наняться постирать да пол смыть. Так день отó дню тянулись. Где хозяйка подскажет работу, где кто. Мало-мало болтались. Но какá это жись? Надо ведь про мужиков разузнать, свидеться уж видно не придётся. Хозяйка глядела, глядела на их, видно, говорит, мне придётся сходить, жалость одна глядеть на вас. И ведь сходила, добилась как-то – пустили её к Илье. Пришла домой-то, надо, говорит, исповедаться батюшке за враньё. Чё уж она там сказала, в тюрьме-то, не в какую не призналась, рукой токо махнула. Авдотья и так с первого дня за её молилась, а тут вообще.



Передавал Илья Иванович благословенье внуку, велел Николаем назвать. В честь Николы зимнего, он их провёл всю дорогу, ему и честь. Про себя сказал: увозить обратно их, вроде, не будут, станут тут держать. Мужики, там с ими которые, говорят, что, кого ладят застрелить, дак сразу уводят. Видно, их не будут пока. Вы, мол, живите, как Бог приведет.

Самое первое дело было – Николу окрестить. Жись вон какая, а он слабёхонек. Боязно ждать положенного срока. Батюшка пришёл на квартиру, вечером, в потёмках, помолились за узников, а утром ранёхонько парнишку покрестили, стал Николай. Батюшка засветло ушёл. Жду, говорит, вас на Литургию в воскресенье. Токо не попали оне на службу-то. Пришла в пятницу хозяйка, слёзы вытирает. Увезли батюшку товарищи. Церкву закрыть пока не закрыли, да служить-то всё одно некому. Им само главное, чтобы не служили. Старухи приглядывают, да отец настоятель успел шепнуть им, чтобы иконки по домам сберегли, вот уносят потихоньку. Грозятся покойницкую в церкве-то сделать. Либо, говорят, будет клуб, чтобы молодёжь ночью там плясала, песни пела. Видно, негде им, христовым, плясать-то, церква самая та.

Что скажешь, всё уж сказано: беда одна не живёт. Завсегда следом беда за бедой тянутся. Тут хоть не ломают, в Мироновой, в Легушиной да в Деевой изломали церкви-то, всё разворотили, ободрали.

Ну не век чужих людей тяготить, надо пробираться ближе к родным избам. Набрали на билеты, пошли на станцию, хоть с опаской, да сели в поезд. А в Егоршиной уж разошлись: Авдотья пошла к брату, в Борисову, Мария к родителям, в Госьтёву.

\* \* \*

Александра не знала, как дожидаться поезда до Егоршиной, хоть вперёд его беги! Как она, деревенская баба, нашла того, кто ответил на её вопросы, нашла в большом городе, в котором разб́чка два бывала с тятей, и то маленькая – один Бог знал. Это ей шибко трудно и не показалось. Душа горела, беда сил придавала, Господь путь указывал. Сперва в церкву, конечно, зашла, молебен отстояла. Потом тут спросила, там узнала, здесь провела. От порога к порогу, от начальника к начальнику, от дверей к дверям. Ну, правду молвить, были у неё с собой взяты пара платков, полотёнчики вышитые, серёжки стеклянные. На всякий случай.

Помогли ей. Сказали, мол, к прокурору надо, да записаться сперва. На последний день голова уж как чигу́нка была, гудом гудела. Не ёвши, не пивши, но добилась, принял её прокурор. Сказал: надо, дескать, написать такую бумагу, что её родители работников не имели, никого не эксплуатировали, чужим трудом не пользовались. И пусть соседи эту бумагу подпишут. А про дом, говорит, пиши в Москву. На счёт собственности дело будет посерьёзней. Там, мол, в калидоре, деваха сидит, дак поможет тебе эти документы изладить. Удивился, что она, Александра, грамотная. А какó диво-то?

За платочек пособи́ла ей та деваха письма оформить, осталось подписать. Александра ходила туда-сюда по платформе, сердце стучало, бумаги грудь жгли. Скорё, скорее, в Липину! Как из Егоршиной дошагала до родимого мёстичка – и не заметила. Темнялось уж, когда постукала в окошко к Симе. Катюшка открыла воротца.

– Тёта Шура! Отку́дов ты?

Гостья зашла в избу, пала на табуретку, воды попросила. Хозяйка подала ей ковшик.

– Погоди, Сима, проздышс́сь маленько.

Напившись воды и переведя дух, Александра рассказала Шелегиным про своё дело. Сима сразу достала чернильный карандаш:

– Давай свои бумаги. Моя первая будет подпись! Катюшка, и ты черкни, не лишно, поди, будет.

– Дай Бог тебе здоровья, Сима. Побегу дальше.

– Да ты что! Куда на ночь глядя? Охлынь хоть маленько, да поешь, у меня вон похлёбка осталась. Завтре пойдёшь с утра.

Да какое там с утра! Сколько она выходила, сколько вытерпела, сколько пережила, а теперь вот она – Липина, вот бумага, и до утра?!

– Утром-то кто в колхоз, кто куда. А теперь все в избе.

Едва Сима успела взять платок свой да крикнуть:

– Погоди, я с тобой!

Ну, разве за один вечер управишься! Людям-то ведь тоже, поговорить охота, что да как. Которым, правда, разговаривать-то б́язно было, но отказу ни в одном доме Александра не встретила. Все до единого подписались. Как узнавали, что всё законно делают, дак ишо смелее карандаш-от брали. Много кто и радовался даже, всё ж таки люди понимали ведь, что не по совести власть робит, не было у Кротовых никаких работников. Все да не все, конечно, Федю да Максю с Тимохой даже никто и не считал. Федя, однако, пронюхал про ето дело, приколдыб́ал к Симе.

– Чё, подкула́шница, худо тебе дома-та? За емя́м вслед захотела? Жалко, комиссар в Коптелову уехал, поглядел бы, какá важна пт́иса к нам тут залетела. Изловить бы енту пт́ису, да в клетку!

– Осади́! – сказала ему Сима. – Излови́лка ишо не доросла.

И захлобучила перед ним двери. За два дня бабы управились, и вечером Александра уже шагала в Борисову. Хоть и грептит скорее обратно к прокурору бежать, да всё-таки робя́т надо поглядеть, и чуток самой оклемать́ся. Опять, с другой стороны, пока она тут оклёмываются, тятя

с мамой каждой час дóрог. И всё-таки, будто кто-то велел ей: сходи, проведай борисовских. Как зашла в избу, и поняла, кто велел.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.